Евгений Морозов

КОРМИТЬ ПТИЦ

Сборник стихотворений

Москва
«Вест-Консалтинг»
2016

Морозов Е. А.
КОРМИТЬ ПТИЦ. — М.: Вест-Консалтинг, 2016. — 100 с.

ISBN 978-5-91865-387-6

В книгу вошли стихи 2013—2015 гг.

© Морозов Е. А., 2016
© Кутенков Б. О., вступление, 2016
© «Вест-Консалтинг», макет, 2016

ISBN 978-5-91865-387-6

МЕДЛЕННАЯ АЛХИМИЯ

Поэзия постсоветского времени, несмотря на кажущуюся растерянность, находится в состоянии вполне явного колебания: между *поэтикой узнавания* и *поэтикой блуждающего*, ассоциативного *слова* (точные определения, предложенные литературоведом Владимиром Козловым в журнале «Вопросы литературы» (2014, № 1). Знаменитый вопрос Адорно «Возможна ли поэзия после Освенцима?» можно было бы переформулировать так: возможна ли поэзия после постмодернизма — и какая именно? Отдельный, но тесно связанный с предыдущим вопрос — что такое сегодня поэтический иррационализм? Итак, с одной стороны, — «ассоциативная» линия, генеалогию которой принято вести в русской поэзии от Мандельштама; примечательно, что именно этот метод осуждался Арсением Тарковским, корни поэтики которого уходят именно в мандельштамовское блуждающее слово, — но оказался блестяще точно им охарактеризован: «…Способ разрушения поэтической формы «изнутри», когда «классичность» средств выражения пребывает в состоянии неустойчивого равновесия относительно «сдвинутого», разделённого на отдельные плоскости самосознания художника. Так, Мандельштам, оставив у себя на вооружении классические стихотворные размеры, строфику, влагает в них новую «подформу», порождённую словесно-ассоциативным мышлением, вероятно предположив, что каждое слово даже в обособленном виде — метафора (особенно в нашем языке) и работает само за себя и на себя»[1]. Что характерно для этого творческого метода? Труднооспариваемое сходство с миром,

[1] *Тарковский А.* Заметки к пятидесятилетию «Чёток» Анны Ахматовой. // Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. Поэмы; Стихотворения разных лет; Проза / Сост. Т. Озерской-Тарковской; Примеч. А. Лаврина. — М.: Худож. лит., 1991. — С. 220.

изначально расщёплённым на атомы; присущий поэзии интуитивизм — и, как ни странно, доверие к читателю, к его ходу ассоциаций. «Странно» — поскольку первый, вполне поверхностный, взгляд на такую «усложнённую» поэтику позволяет судить об отдалённости от читателя (однако недаром Лидия Гинзбург в работе о том же Мандельштаме писала о «читательском «разгадывании» текста», которое для учеников символистов «стало существеннейшим эстетическим фактором»).

Но есть иной — и, бывает, не менее высокий — пилотаж, при котором работа акварельными художественными средствами требует от читателя предельного внимания к тончайшим смысловым нюансам. Выводит написанное на уровень поэзии отдалённость от бытовой логики, психологическая достоверность; наконец, внезапная синхронность звука, взгляда и слуха, отличающая истинного художника:

а просто смотреть, как по небу плывут белым фронтом
из сахарной ваты и чувствовать дикость травы,
и слышать детей, вырастающих за горизонтом
навстречу пути твоему и на смену, увы.

Евгений Морозов остаётся в границах человечности переживания, о чём бы он ни писал. Оттого его стихи впечатляют обаятельностью топоса, — непримечательного, тягостного, с горькой смесью любви и иронии называемого «Нижнежлобинском» в одном из стихотворений книги, — но всё равно любимого (см. «Оду каменному призраку»):

в эти лица с душой скабрезной
и монгольскою кривизной
я вглядеться хочу как в бездну,
что разверзнется надо мной.

Редкое свойство этих стихов — уходящая из нашей поэзии цельность лирического героя, «предъявляющего» читателю

свой путь от рождения («Двор, где гербарием стали клёны…») до чуткого вглядывания в мир и поиска в нём совместимости:

И склоняя на злые лады до случайных нелепиц,
ты почувствуешь соль на губах и кипящий прибой,
«человек», «человечество», «чел» и «чувак-человечец»
именуя стихию, живущую рядом с тобой.

Последняя строфа характерна и семантической двуплановостью, немаловажной для книги: «человеком», «человечеством» и множеством иронических производных приходится скрепя сердце именовать шум усмиряющейся стихии, знакомый нам по ежедневной ленте Фейсбука, — но и разгромная стихия «поэтова сердца» как бы сужается до уровня человека, твёрдо держит себя в узде мысли, совести, ответственности: все эти понятия вроде бы исключены из «духовного рациона» поэта, которому культурно позволено быть чудаковатым, а талант оправдывает многое в его же собственных глазах. В конечном итоге эта редкая для поэта — и постоянная в стихах Морозова — попытка самоосаждения, самоосуждения, строгого самосуда не даёт и поэтическому потоку перехлестнуть самое себя и дать волю «разделённым плоскостям самосознания художника».

Лучшие моменты в книге — когда поиск золотой середины между человечностью (исконно присущей «человеку» и «челу») и свойственным поэту безумием ведёт к чудесному преображению речи, не отменяющему точности и представимости образа. Тогда взгляд героя этих стихов, — напряжённо ищущий, робкий, словно каждым жестом пытающийся вырваться из состояния окукленности, — поднимается над тривиальным уютом и провинциальным бытом, объединяя в одной алхимической колбе

…телевизор, хрустальный шар.

Или — моменты сурового стоицизма, как в «Посвящении», когда на краю «приветливой бездны» выбирается «смысл

привычный», «укрощение погоды лица» и умение остаться одному; и в этом видится железная воля, не дающая идти на поводу у подстерегающих соблазнов речи, которая, как известно, далеко заводит поэта:

Ребёнок идёт и читает по сердцу, как дышит,
от темени ангела до преисподних седин,
средь звона ладоней и глаз многочисленных вспышек
обретший вниманье — сумевший остаться один.

Ровное, подмечающее тектонические сдвиги и глубинные течения бытия, поэтическое дыхание Евгения Морозова предельно отдаёт себе отчёт в осмысленности каждого жеста. И, возможно, навряд ли окажется спасительным для тех, кто ищет оправдания резкому побегу из обыденности, но — своё отражение в этих строках найдут ищущие способ остаться, обжить окружающий ад и деформировать его с пользой для себя и мира. Лирическому герою Морозова, позиционирующему себя как средоточие «посторонних людей и событий», подвластна центральная точка на вертикали, позволяющая соединять несоединимые, казалось бы, части пространства, пока остальные порхают или падают. По сути, тут и заключается главное богатство этих стихов: богатство взгляда, чётко осознающего пределы собственной территории и обживающего её с вниманием к микроскопическим изгибам бытия:

и мигала средь пустоты,
где дороги и неба смесь,
по которой блуждаешь ты,
оставаясь то там, то здесь.

Борис КУТЕНКОВ

ВСПЫШКИ В ДОЛГОМ ТУМАНЕ

Память, как бы ни был сон твой крепок,
смотришь в лица — мучает вопрос,
что уже встречал подобный слепок
глиняного смеха и волос.

По глазам читая личный эпос,
под прицелом встречного неся
хрупкую мелодию и ребус
глобуса, а проще, всё и вся,

видишь океан живых событий
и времён, какими осенён,
ты, идущий в бездну по орбите
страхов и мерцающих имён,

забываешь гаснущие луны
лиц и солнце ядерной войны:
отчего стары они и юны,
отчего красивы и страшны —

не пытайся вспомнить. Ты бессилен
против человеческих наук,
где само наличие извилин —
это сумасшествие, мой друг.

ПОРА ОДРЯХЛЕВШЕЙ КОРЫ

В осеннюю эру, когда, утешаясь утратой
находчивой жизни, следишь — облетает листва
с тебя словно с дуба, и нимбом мерцает крылатый
в загоне туннеля, планеты касаясь едва,

тогда понимаешь, что некуда больше и нечем
и незачем биться, и что во спасенье мудрей
не мучиться адом, который тебе обеспечен
в родном лукоморье, у выхода райских дверей,

а просто смотреть, как по небу плывут белым фронтом
из сахарной ваты и чувствовать дикость травы,
и слышать детей, вырастающих за горизонтом
навстречу пути твоему и на смену, увы.

В минутных потоках, чей выбор хронически труден,
впадающих в годы, по долгой земле — всё скорей
проходят металлы, деревья, сомнения, люди,
как мутная пена по зеркалу страшных морей.

Что станет заменой печальному пшику кого-то
от прошлого счастья, с которым он совесть терял,
когда, тишиною и смертью разъятый на ноты,
он всё-таки длится и ценится как матерьял.

Священная горечь погаснувших воспоминаний
невидимым смехом и плачем вольётся сполна
в суставы попыток, в рассвет закипающей рани,
в молекулы звука и призраков детского сна.

А впрочем, стихия судьбы иногда прихотлива,
капризна, как будто на быстром огне молоко:
в сезон отправленья, когда устаёшь ждать прилива,
не думай о вечном и радуйся, что далеко.

* * *

При помощи глотки и нищей гармони
средь свадебных дел и непрух
мужик-музыкант и бедняга в законе
ласкает общественный слух.

В горошек рубашка, меха нараспашку,
беззубо расклеенный рот,
и прямо к подножью в побитую чашку
прохожий ему подаёт.

И нет ничего в нём такого, как вроде,
поющем на тему одну,
но этим же самым в снующем народе
задевшем живую струну,

хоть знают, по взглядам сочувственным судя,
о том, что он густ и непрост,
бездомные звери, бывалые люди
и птицы с насиженных гнёзд.

Про розы, весну и приморские скалы
он хрипло заводит тоску,
что тонет у берега чёлн запоздалый
и чьи-то следы по песку,

а в общем-то, остров судьбы, где хоть тресни
и спасшихся как ни зови,
но всё в одиночестве слушаешь песни
о времени и о любви.

Здесь нет ничего, что б роднило со смыслом,
и память о прошлом плоха,
а только лишь пальцы по клавишам быстрым
и рвущие душу меха.

БЕЗДНА ЗА ГОРИЗОНТОМ РОДИНЫ

Боязливый край, где тяни-давай
из земли, которую дождь мусолит,
я вкусил твой солнечный каравай
родовой мякины и грубой соли.

Выходил народ из густых широт,
предлагал наместнику с ликом мутным
распальцовку, труд свой и гулкий рот,
умирая в ночь и рождаясь утром.

Он не то чтоб спорил с лихвой-судьбой,
по грязи простуженной сея семя,
а стоглаво горбился сам собой,
продолжая жизнь и седое время,

и крестились серые трудодни,
жёлто-красный обморок красил лето,
и в груди тревожилось от возни,
провожавшей в прошлую тьму всё это.

И как колос спела моя любовь
к рядовым полям и зубастым кущам,
где от зверских свар и людских ветров
приходилось круто ещё живущим.

Это был распаханный каракум,
а точней, край света, где смерть встречала,
за каким кончался последний ум
и звезда на небе брала начало.

* * *

В гул пчелиных будней отпуская
праздничные сны,
пусть твердит своё судьба людская
языком волны,

я не сокрушаюсь, коль душою,
что едва стара,
не сплетусь с резиновой большою
гидрою добра.

Рыжая толпа, чьи силы вздуты,
правду теребя,
кто бы сомневался, что вину ты
примешь на себя,

что в тебя, чьи головы — солдаты,
а объятья — льва,
я упрусь тогда, когда слепа ты
и всегда права.

В марте, если выйдешь за границы
дома, где прожил,
чуешь, как по небу плещут птицы
и дрожанье жил,

сходишься со светом, как с рекою,
и течёшь вполне
ласково и плавно, далеко и
глубоко на дне.

Но и здесь, сплавляя должность рыбью,
сквозь года и льды
остаёшься рябью или зыбью
в зеркале воды,

если океаны, реки, лужи
человечьих глаз
с каждым днём всё жертвенней и хуже
забывают нас.

ЧЕРНОВИК

Если не стыдно уже давно
переплавляться в речь,
что заставляет трезветь вино
или глаза — потечь,

осенью, как заведётся свист,
ветром в лицо грубя,
на белоснежно-чужой лист
выдохнешь сам себя.

Будет исхожен он вкривь и вкось,
вдоволь и поперёк;
много, бедняге, ему пришлось
вынести слов и строк.

Словно измятая простыня,
где полюбил с лихвой,
ритмом о самом больном бубня,
станет он сразу свой,

ибо в листке этом, как в слуге,
знающем твой каприз,
весь ты — от ссадины на ноге
до херувимских риз.

Помнит он правду твою, мой друг,
хоть откровенным днём
и не сказал ты всего, но круг
мыслей твоих на нём,

и потому его смятый вид
более нам знаком,
более ценен и духовит
рядом с чистовиком.

МОЛОЧНЫЙ ЗВЕРЬ

Грудь, уставшая быть кормящей,
прикоснувшись к какой, скорей
обожжётся хозяин, мнящий
перманентность своих угрей,

чем почувствует мать. Да где там —
помнить сыну, как день непрост
и что сам он был вскормлен светом
из родительских млечных звёзд?

Ведь в тропическое бесчестье
он забьётся по рукоять,
чтоб наполниться кровной жестью
и на горнем ветру стоять.

Разве можно любить по-детски,
если слава его пока —
как убийцы извилин грецких
и адамова кадыка,

хоть и он опустеет, силясь
слиться в женскую эту тьму,
из которой однажды вылез
и куда уж пора ему.

ПРИРУЧЕНИЕ АНГЕЛА

Ангела неимущего
в туловище своём,
по существу, живущего
наедине-вдвоём

вместе с душою тряскою,
не отлучай от зла
и из себя вытаскивай
за уши и крыла.

Пусть он глазами, полными
туч, оглядит окрест
поле с холмами-волнами
и раздражённость мест,

где города пускаются
буднями вширь и в рост,
а по ночам взрываются
на легионы звёзд.

Ну а тому, чьё имя я
не призову, не в новь —
медленная алхимия,
мясо, скелет и кровь,

камень, металл и дерево,
гипсокартон, стекло,
бездна, в какую вперивал
взгляд и своё крыло.

Правда, какую впаривал
в мирные города,
предвосхищая зарево
ядерного суда,

тот, чьи дела и хлопоты —
красный людской помол,
с ласковым хриплым шёпотом
на ухо: «Kill 'em all».

ACHETA DOMESTICUS

За гармонью платного отопления,
безвозмездно делая выступления,
в анонимной тьме, сторонясь всего,
жил сверчок и струнная трель его.

В дом едва вступая, вставал на входе я —
раздавалась с места его рапсодия,
стрекотала плеском в речной струе
о сверчковом быте-ныбытие.

Развивая мысль, что квартира проклята,
выясняя жадно источник стрёкота,
как ни шарил всюду я день-деньской,
не найдя мерзавца, махал рукой.

А потом привык, заболев занятием
говорильни с ним по своим понятиям
о мирах и людях миров внутри,
и в ответ трещал он одно: «Не ври!»

Но когда прорвало трубу горячую
и взломали пол, пусть совсем не плачу я,
вспоминая, как отвращенья дрожь
испытал, увидев его, то всё ж,

кипятком ошпарен и свежим тлением,
удивлял он тем, что прославлен пением,
хоть и был уродливый рыжий зверь,
в чьей трещотке нету огня теперь.

РЕПЕТИЦИЯ ЛЕТА

Бывает порой ледяной —
термометр вдруг обнулится,
и воздух запахнет весной,
свалившейся с неба как птица.

Возьмётся клепсидра-капель
отсчитывать ночи и рифмы,
и ты не поверишь теперь
в январские снежные цифры.

Повалит подвальный народ
котов на любовь и на славу
и воздух согретый порвёт
вечерним трагическим «мяу».

Потянутся люди, на треть
топясь в сероватую слякоть,
о будущем перетереть
и просто о прошлом поплакать.

Увидишь ты остров тепла,
где жаркие страсти в лазури,
куда твой корабль занесла
жестокая зимняя буря,

и станет намного ясней
твоё представленье о высшем,
возможном на несколько дней,
но всё-таки не посетившем.

ШУМ УМИРАЮЩЕЙ ВОЛНЫ

Иногда по традиции доброй со злобой тупою
аргументы и люди, сливаясь в колючий поток,
заручившись оружьем, «ура» произносят толпою
и старательно тянут последний невидимый слог.

В окопавшихся склепах, полях и на улицах дымных
им внимает противник, который по слухам знаком,
размышляющий, как и они, и слагающий гимны
о просторах, царях, божествах, но другим языком.

Оба станут сверкать и греметь, и расскажут войну вам,
и растают на солнце, от крови и спора красны,
кто из них перманентный архангел с карающим клювом,
кто дежурный антихрист на стрёме насущной вины.

А потом возродятся и станут заделывать раны
двухметровых окопов бальзамом простившей земли;
будут гулкие речи, как площадь на праздник, пространны,
о величии смерти, развеянной ветром вдали.

И склоняя на злые лады до случайных нелепиц,
ты почувствуешь соль на губах и кипящий прибой,
«человек», «человечество», «чел» и «чувак-человечец»
именуя стихию, живущую рядом с тобой.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Эти «ов», «ин» и «ан», эти «ер», эти «ий»,
позывные концы от ехидных фамилий,
сколько жарких историй, кликух и стихий
родословную славу твою накормили.

Продолжатели семени, мнений и вер,
обрубатели веток семейного дуба,
за столетнею далью всегда будет сер
главный ствол, на планету опёршийся грубо.

В комбинациях букв обновлённых имён —
старый хрыч пыльных отчеств, линяющий скоро,
в виде редкого предка, что был столь умён,
но с клеймом «by default» по причине повтора.

Кем ты назван, как жил, ненавидя-любя,
не узнают за множеством судеб и планов,
а узнают — забьют — на тебя иль тебя,
милый друг мой Адольф Моисеич Иванов.

ВДАЛЬ УВОДЯЩИЕ ПРОВОДА

Часто видел я поезда
с уезжающими в окне,
отбывавшими не туда,
где привычно бы было мне,

а куда-то в тмутаракань
и за тридевять адресов,
где встречали земную рань
с расхождением в пять часов.

Но и в тихом своём дому
мне казалось, что я не смел,
что чего-то я не пойму,
раз однажды в вагон не сел,

что теперь уж не обессудь,
если в грохоте поездов —
нечто большее, чем сам путь
между точками городов,

нечто большее, чем звезда
в дребезжащем куске стекла,
та, которая навсегда
за собою тебя звала,

и мигала средь пустоты,
где дороги и неба смесь,
по которой блуждаешь ты,
оставаясь то там, то здесь.

НА РЕЧНОЙ ЗАРЕ

На речной заре по выпуклую лодыжку
забредя в траву, замечаешь верней всего:
человек живёт, чтоб выловить рыбу-вспышку
из безумной Леты, текущей внутри него.

У крещенских вод попутного окоёма
разбираешь снасти, и, вроде, крючки востры,
и припух карман, в котором ключи от дома,
и в дали растерянной — призрачные костры.

В безмятежной дымке зелень и синь Эдема —
только птица шлёпнется в необжитую тишь,
где прилично зверю и первобытно немо,
где людей прощаешь ты и ни о чём молчишь.

Пусть порою в сердце тихо кольнёт зазноба,
не любовь червовая, а лишь погода-страсть
задыхаться счастьем, чуять и видеть в оба
и шагами в роще природную веру красть,

ты плеснёшь свинчаткой в омут неторопливый
и отыщешь чудище с жабрами и хвостом,
и деревья-своды, молча даваясь диву,
мозговыми кронами будут звенеть о том.

Чешуя-кольчуга станет скользить, жестоко
плавники вопьются, что и не спросишь, где,
по каким краям таращило злое око
существо земное, живущее на воде,

лишь услышишь голос совести-антипода,
чей укор — игла, и попробуй ей не поверь,
и утопишь в бездне жидкого небосвода
сиротливое чудо-юдище рыбу-зверь.

ОСТРОВ ЯБЛОНЬ

…И я был там,
где яблоневый сад и край дороги
и тут же по соседству прилагалась
растянутая жёлтая домина,
облупленная, с клетками балконов
и окнами, откуда доносились
долбёжка, ругань, музыка и крики,
свидетельствуя всякому пришельцу,
что всё путём и есть на Марсе жизнь.
Заметим походя, весь этот сад
уж был не тот, растративши все листья,
сухие ветви, дикие плоды:
ноябрь вступил в права, холодный дождик
с вечерних серых туч стучался в землю,
кащеи голых выцветших деревьев
хранили про себя своё тепло.
Дыханье обращая в тихий пар,
я мимо шёл и в мыслях сокрушался
о том, что вот, мол, сад зачах и вымер,
хотя ещё недавно было лето,
он цвёл, ронял свой снег и, наливаясь
плодовой круглой зеленью, клонился
под весом дикой свежести к земле.
В тенях его устраивали кошки
бои, концерты, игрища и случки;
прохожие куда-то шли с работы,
как будто бы на праздник; в тесных кущах
о чём-то не о том шептались птицы,
предсказывая звёзды в небесах;
шальных детей гуляющие стаи,
придя сюда, со смехом рвали ветви,
взбирались на деревья, голосили,
трясли густые яблони, жевали
кислятину, наморщив чуткий нос;
нагрянувшие пьяницы со взглядом

настойчивым главу клонили долу,
прописываясь на ночь средь деревьев,
струясь на благодарную природу,
ложась в траву и сладко видя сны.
И солнце… Солнце утром так горело,
даря благословенным юным светом,
что жизнь казалась сказкою, в которой
нет холода и осени с дождём.

НЕМНОГО ЗАБЫТОГО СЧАСТЬЯ

Там, где вечно срочны и злополучны
монументы времени — города,
и толпой прикрыта да ночью тучной
худоба твоя и твоя беда,

у тебя есть ветер, сквозь даль бегущий,
и созвездья гроздьями наверху,
о каких насущно для правды пущей
говорить стихами как на духу.

Не смотри, что спрятаны водоёмы
ледяною коркой над спящим дном.
Это край молочный, и здесь ты дома,
а не где-то поздно в миру ином.

А что ты в уме и вдыхаешь пробы
продувных просторов и непогод —
наилучший способ и довод, чтобы
посчитать счастливым минувший год.

АЛХИМИЯ

Димедрол, растолчённый в ночной порошок
в лаборантской родного дурдома,
при попытке куренья не вызовет шок,
но сонливость по мере приёма.

Табака и лекарства ленивая смесь,
если верить подонкам гундосым,
заключённая в тесном патроне, и днесь
оставляет бессонницу с носом.

По святом пробужденьи ты чувствуешь штырь,
что забит некой силой в затылок,
предпочтя его лёгкий, но действенный стиль
самогону из местных опилок,

и когда прямо в солнце посмотришь наверх,
как на яркую лампу в допросной,
даже там — сколько химии, коей не грех,
романтической, но смертоносной.

* * *

Я разучился делать из бумаги
кораблик, что весною отпускал
пастись в полузатопленном овраге
средь мусорных мешков и снежных скал,

а сам следил глазами пионера,
открывшего Америку, как он,
похожий на бумажное сомбреро,
пропитывался ветром тех времён.

По сути, тот овраг был котлованом
заброшенным, где рта не разевай
и вместо зданья с людным балаганом
гнездился стоунхендж забитых свай.

Здесь пели, дрались, грабили прохожих
порой, когда спадала вся вода;
здесь жизнь цвела и пахла, хоть, похоже,
совсем не тем и даже не туда.

Здесь мой кораблик выдохся и вымок,
и став комком бумаги, сел на дно,
а сам я, пойман в школьный фотоснимок,
забыл ремёсла детские давно.

ЧЕЛОВЕК НА ЛЕТУ

Говоришь «я люблю» рыжим будням и веку,
кромке леса, степному репью,
но ни в жизнь не признаешься в том человеку,
ибо проще сказать «я убью».

Произносишь «прости», но гордыней слепою
ощущаешь в тот миг невзначай,
что с подносом стоишь пред сидящей толпою,
ожидая подачек на чай.

Отвечаешь «скорблю», если видеть придётся
караван похоронных зануд,
выключая согласно обычаю солнце
настроенья на пару минут.

Рассуждаешь с собою, потворствуя слогу
скорых дел и людей на лету,
о наличии слов, отсылающих к богу,
но почти невозможных в быту.

Соискатель прощенья, любви и печали,
ты лишь возраст младенческий свой
почитаешь за правду, чьи плачи звучали,
выдавая тебя с головой.

* * *

Двор, где гербарием стали клёны,
дом, где шаги стучат;
здесь под скрипенье тахты зелёной
был я на свет зачат.

По воплощеньи в комок ребёнка,
бурым пупком клеймён,
резаным голосом выпал звонко
из глубины времён.

В этом дворе, где шумел, бывало,
дождь и набег ветров,
я напридумывал игр немало
и намечтал миров.

Муж умудрённый, что знал шаманство
детства, ступая в след
пыльных пращуров сквозь пространство
самых счастливых лет,

не возвращайся туда, где прожил
царствуя и любя,
ибо всё это примерно то же,
что не узнать себя.

Стены, дороги, заборы, реки
те же, но грустно всё ж,
что изменился ты и навеки
в прошлую жизнь не вхож.

Пусть чем взрослее, тем больше фальши,
но для себя ясней:
стебель тела загнётся раньше
детских твоих корней.

У ХОЛОДНОГО КРАЯ

В скуластый день, когда над головою
знакомый шар с короной огневою,
в траву-приправу, в море-мураву
упёршись взглядом, тихо поплыву
пугливою росой, чья синь невинна,
по шороху зелёного трамплина
и в бездну, где земля идёт ко сну,
со свистом канув, заново начну.

В чащобу-ночь, где глушь и крики «кто там»,
в густую шапку, тянущую потом,
сквозь мрак, кикимор, изморозь и гнусь
лицом, горящим совестью, уткнусь —
повеют избы гарью и овчиной;
молочный вкус, родной и беспричинный,
песнь матери, межзвёздное родство
на свет из сердца выйдут твоего.

Ещё дитём, в пещерном плейстоцене,
ты руки клал на тонкие колени
и впредь смотрел, сбывая сны свои,
учась расти у времени-змеи,
и в те года, как мир оно меняло,
к немедленной груди твоей немало
припало в час родства и близких слов
усталых взрослых вздохов и голов.

Побег лесной весны, тростник-ребёнок,
ты был беззвучно глуп и нервно тонок,
но тем и обречённей и верней
людьми овладевал по мере дней,
поскольку, сам того не разбирая,
стоял у заколдованного края,
где всё прощало, сколько ни живи,
холодное бессмертие любви.

* * *

В сонном лесе отчизны
собирай как грибы
оптимизмы и клизмы
санитарки-судьбы,

перелистывай повесть
романтических дней,
веря в худшее, то есть
становясь всё умней.

Не смотри, что в пустыне
закадычных друзей
был ты в теме, а ныне
словно пыльный музей.

Дыроколы-обломы,
перекрёстки-кранты,
всё, что зло и знакомо —
это так, это ты.

Это наше богатство,
это часть общей тьмы
и мычащего братства
под метафорой «мы»

и, конечно, орешек,
чей гранит не разгрызть,
торможений и спешек
под названием «жисть».

ПРОХОДНАЯ

В Нижнежлобинске возле мэрии,
проходя по своим делам,
я заметил тюльпаны серые
с ровной травкою пополам.

Сбившись кучею, как просители,
увядали они, пока
было дико и удивительно,
что не рвёт их ничья рука,

хоть народец, томим похмельями,
здесь в зелёной бродил тоске,
говоря с голубыми елями
на серебряном языке,

опасаясь по-настоящему,
что повыскочит вдруг спецназ
и заломит мозги журчащему
меж тюльпанами в лунный час.

УВОЛЬНЕНИЕ НА ЮГ

1

Мы бродили с тобой дворцами,
что рассыпались серым камнем
и, оставленные жильцами,
намекают теперь о давнем.

Открывался оттуда вид нам
на размокший приморский берег,
чей хронический шелест выдан
за тактичную просьбу денег.

На базаре торговец старый,
помесь ангела и араба,
норовил нам всучить товары,
мелочась как дрянная баба.

Ароматы духов и масел
обоняли мы так влюблённо,
что померкли в едином часе
патриоты-одеколоны.

И в верблюжьих тугих когортах
стыл песок и труха помёта,
и туристы в широких шортах
бронзовели на общем фото,

и мерцала, бледна-капризна,
что в песках, что в садах Шираза,
за спиною жена-отчизна
с ностальгическим садо-мазо.

2

За шуршание листьев, иссохших дотла,
чьи останки природа прессует,
за душевную брань из людского котла,
помянувшую мать мою всуе,

за роскошную грязь и ликующий дождь,
что чреваты позывами злости,
за недолгую зелень и вечную дрожь
голых веток на зимнем погосте

я отдам веер пальмы на жарком песке,
пену моря, что шепчет зовуще,
и уютный сезон с головой налегке
с летним видом на райские кущи,

и ещё — непонятно-гнусавую смесь,
на которой молчат оскорбленья
о насущных несчастьях, и край этот весь,
где под солнцем скольжу словно тень я.

Ибо грусть прописала иная страна
белокожих родных папуасов,
что на огненных водах растит семена
поколений и верует в мясо.

Мир степных инвалидов, откормленных звёзд,
скользких пандусов, цепкого понта,
что покрыл нищеты волочащийся хвост
душной химией евроремонта.

Ты рождён здесь судьбой, и отдать приготовь
всё чужое, пусть это сурово,
и останется просто — одна лишь любовь,
постороннее сладкое слово.

ЭЛЕГИЯ, ПОДХВАЧЕННАЯ ВЕТРОМ

…И когда нагнетает теплом после зимнего плена,
где давно ты расстрелян от жалости волчьей тоской
белозубых снегов, обративших твой край постепенно
в ледяную симфонию смерти чужбины людской,
ты не мучаешь мозг размышленьем о дикой природе
человеческой страсти и доброй звериной породе,
а идёшь по проспекту и просто, вбирая тепло,
говоришь, что тебе повезло.

Повезло, потому что застал налипание почек,
снисхождение солнца, чьи пятна уже не важны,
вакханалию света, где всё зеленеет и дрочит
по классическим ритмам рифмованной песни-весны.
На термометре плюс. Возмущаться становится нечем.
Раздвигается день, арендуя у Хроноса вечер,
тот каким зимовал ты и встряхивал звёзды как ворс,
говоря в тишину, что замёрз.

Но сегодня, смотря на прохожих, что менее строги
в размороженных нравах, одеждах и складках лица,
обнажая зубовные скрежеты, головы, ноги
под светилом, сулящим загар и начало конца,
по утянутым юбкам, чьи ягоды и ягодицы
догоняют небрежные брюки, легко убедиться,
что порою в широтах центральной и северных зон
приключается южный сезон.

Будут оклики молний и небо с дымящей трубою,
шашлыки огородов, купанье в песках и костры,
словом, всё, что как сон и как будто совсем не с тобою,
и считается летом, авансом эдемской поры.
Впрочем, где-то я слышал, что слаб человек, выбирая
между кайфом в помойке и далью стерильного рая,
и поэтому он с первобытных анналов и днесь
оборудует рай прямо здесь.

Если б бог был султан, то он сплёл бы хвалу человеку
в янычарский указ, прописавший всему, что вокруг,
не пастись по пустыням и ездить в далёкую Мекку,
а любить как святыню творения собственных рук.
Пирамиды, дворцы, эшафоты, мосты, ипподромы
подтверждают негласно, что в шарике жёлтого дома,
в мире войн, институте безумия ночью и днём
всё пропитано вечным огнём.

И поэтому всякой весною, когда он, вздымая,
вырывается прямо из сердца в лиловую высь,
не смотри в календарь оскорблённого цифрами мая,
а на улицу выйди и нотой одной захлебнись.
Это будет мгновенье, в какое приходят к герою
небывалое счастье ненужности и геморроя
навороченных дел, и стоит он вот так безымян —
просто сеятель добрых семян.

Но тебе не впервой, если это случалось и прежде
в прошлых жизнях, годах и какой-нибудь книжной тиши,
ты молчал на распутье невидимо, в лёгкой надежде
тягомотных раздумий поверх и последней души.
Ты болел, умирал и рождался с весеннею драмой,
но стоять оставался, сливаясь с той нотою самой,
и лишь тех, кто был просто в одежде и жив и здоров,
уносило прибоем ветров.

* * *

Совесть — ангел, чью крышу свезла
доброта, говори не скрывая,
кто бы видел во мне не козла,
если б я был кондуктор трамвая,

кто бы честно не дал стрекача,
не толкнул, отвернувшись спиною,
за которой — деньгою бренча,
шмат билетов и нимб надо мною.

Продираясь сквозь тесных людей,
где лишь сотый уступчив и робок,
я ценил бы того, кто худей
в час трамваев и уличных пробок,

а когда бы уставший вагон,
опустев, приземлялся с ночёвкой,
то, конечно б, молчал, как и он,
в темноте мировой и неловкой.

Вспоминал бы я, как балаган
пассажиров томился в салоне,
ожидая, что в табор цыган
украдут их трамвайные кони,

хоть колёса вагона несло
на тугом электрическом гуде,
и гремящее их ремесло
исключало понятие «люди».

ПИЦЦИКАТО

Я открыл провинциальную газету
и узнал, что мальчишку убила лошадь,
что в посёлке поменяют трубопроводы,
а инвалиды могут ещё поработать,
что в пионерском лагере выбирали президента,
что построенный храм осветят через полгода,
а бодрящий состав алтайских бальзамов
помогает от паразитов и импотенции.

Безупречный вкус провинциального стиля,
разбавленный рекламой и криминалистикой,
океан объявлений о съёме и продаже,
где каждый ищет место под солнцем.

Полистав на досуге детскую энциклопедию,
я убедился, что Паганини музицировал с детства —
24 фуги для фортепиано,
инструментальные пьесы свободной формы.
Итальянский виртуоз игры на струнах
имел трёх возлюбленных и возможность
выступать в Европе и не смущаться
ни оваций, ни ревматизма.

Творческий импульс романтического мышления,
стремительный пассаж и звук пиццикато,
мундир капитана наполеоновской армии
на грани технических возможностей человека.

Я открыл окно и увидел дворик,
в котором машины ждали хозяев;
литые колёса и зеркальные лужи
сверкали на солнце как изумруды.
Вытоптанная трава вокруг песочниц,
врытые в землю советские скамейки,

пластиковое тепло мусорных контейнеров,
железные столбы для просушки белья.

Я открыл, я увидел, я понял, я сделал,
высморкался, вышел покурить и вернулся обратно.
Я — идиот, сквозь которого протекает
океан посторонних людей и событий…

ШОРОХ КРЫШИ

Это буду не я, если, криками воздух кроя,
понесу, что слова лишь названия миру-предмету,
охмурившему нас, да и скользкие наши края
понимания жизни, впадающей в глупую Лету.

Это будешь не ты, чьи глаза оскорблённо пусты,
если смотришь на небо, лишённое перьев и дыма,
потому что нет времени, нету такой высоты,
что б тебя не смешали с листвой и не сгинули мимо.

Это будет не он, большеротый народ-миллион,
что, из тел-поголовий дорогу межзвёздную выстлав
для даров, зихеров и шагающих в землю колонн,
налегает на веру за праздным отсутствием смыслов.

Хаотический Броун — движение точек вразброс,
в девятнадцатом веке построили башню в Париже,
на затерянном острове яйца несёт утконос,
и глаза к переносице стали заманчиво ближе.

* * *

У прожжённых героев в конце ЖЗЛа
много яркой алхимии для
выделения духа из плотного тела —
эшафот, богадельня, петля.

На глазах у читателя звонкая сила
разобьётся о высшее зло:
ибо сколько же можно, чтоб вечно катило,
поддувало и в гору везло.

Как на птицу летящую смотрит с ехидцей
полу-отпрыск ужа и ежа,
территорию личной своей психбольницы
за колючею правдой держа,

так порой очень странно, что с юности ранней
все геройские подвиги те
почивают средь залежей трубных изданий
о дерзании и борзоте.

И кому было дело, что жизнью простою
жил герой и спускался в подвал,
где от сложенных крыльев страдал ломотою
под лопаткой и нимб пропивал.

ТЕКСТЫ

Я читал в детстве Библию, злое нытьё
о добре пропуская с порога,
но ценил те места, где герои её
убивали от имени бога.
Разнополо-спасительный книжный ковчег,
пропитавшийся кровью пророчеств,
раскрутил тьму имён на оставшийся век
и зерно зароняющих отчеств.

Я листал Камасутру в отроческом сне,
опуская весь текст для картинок,
на каких столь отчётливо виделось мне
единение двух половинок.
Много поз изощрённых составили пласт
ощущений, которых, похоже,
не представил бы самый развратный гимнаст
по обкурке на ласковом ложе.

Повзрослев, я прочёл трудовой приговор,
по какому при худшем раскладе
мне грозит увольненье и волчий позор
и пинок оглушительный сзади,
а при лучшем — зевота с утра до темна
на полях производственной скуки
и под старость возможность узреть, как страна
умывает торжественно руки.

Правдолюбец, любовник, работник-герой,
не пытайся найти в этом разе
между тем, что прочесть доведётся порой,
неразрывной логической связи.
В тот момент, как ты грамоте станешь учён,
примирись с тем, что люди — лишь люди,
что и сам ты зачитан, точней, заточён
в книге судеб, как в общей посуде.

* * *

Псих номер двести тысяч,
чтобы избыть вину,
можно ли солнцем высечь
пасмурную страну?

Можно ли грецкий студень
мозга, где я живу,
выпустить сразу в люди,
треснувшись о траву?

Ты-то уж чётко слышишь,
зная наверняка,
что значит шорох крыши,
стены и облака,

синий ментол, где птицы
в бездне над головой,
что о тебе дымится
раною ножевой.

Мыслями лишь не трогай
буйных палат ума
в мире, где всё — дорога
из дому и в дома,

в местности, по которой
нет прямиков, мой друг,
а лишь грибные горы
и кобелиный крюк.

И если разум помер
от вариаций их,
вспомни случайный номер
и повторяй как стих.

* * *

Погадай по пачке сигаретной,
отчего запнёшься и умрёшь,
человек, проживший много лет, но
мало в чём раскаявшийся всё ж.

Зачерпни рекламного парада,
помечтай, что купишь, а чего
за многообразием не надо,
человек, хотящий одного.

Заключи по лицам-монолитам,
от кого в какую кутерьму
понесёшь любовь и будешь битым,
человек, поверивший всему.

Человек земной, прямоходящий,
лгущий, жгущий прущею толпой,
человек, живущий к пользе вящей,
человек смотрящий и слепой.

Я тебя люблю, когда из мая
упадёшь на землю как звезда
и пищишь, ещё не понимая,
кто ты и откуда и куда.

СВОИ

В крылатой жизни словно на войне,
проигранной тирану-имяреку:
всё меньше веришь богу и стране
и больше — рядовому человеку,

который не пошлёт тебя назад
за подписью, печатью или данью,
а просто, взяв за шкирку, скажет «брат»,
прочистив матом хриплое дыханье.

И в мантре из трёх букв, какую он
начнёт склонять на все лады открыто,
почувствуется веянье времён,
ночного спирта и дневного быта,

но он тебя не станет бить, поняв,
что ты такой же хлыщ в прикиде старом,
который в час толпы и переправ
обдаст его душевным перегаром.

ГРУСТЬ У БОЛЬШОЙ ВОДЫ

Видим старый причал, на котором уже не резонно
ожидать теплохода из синего слова «вдали»,
лишь промозглая тина, песок и обломки Язона,
сторожащего бездну морскую под звуки земли.

Облетевшее имя на зданье пустого вокзала
населённого пункта из множества труб и домов,
где цвело несмышлёное детство и юность дерзала,
и серийная зрелость чужих набиралась умов.

Обезлюдевший берег, одетый асфальто-бетоном,
ветер, веющий пылью на все купола и лады,
словно летний сезон задохнулся в аду монотонном
желто-красного леса и осени серой воды.

Лишь поодаль на пляже, где в небе ни грусти, ни хмури,
загорают, купаются, любятся чьи-то тела,
и на лодках своих рыбаки восседают и курят,
зарядивши удилища и навостривши крыла.

В ОТРАЖЁННОМ ЛИЦЕ

Бреясь, видишь в зеркале такое —
лунное, заплывшее, своё,
что роднит со старческой тоскою,
но не отменяет бритиё.

И когда портрет не равносилен
самому себе, то сделай вид,
что мудрей на несколько извилин
и переживаний и обид,

но по сути тот, что был когда-то
и любовь всё та же, как тогда,
ты — движенье ветра, сумрак сада,
верная горящая звезда,

чтоб, уставши гнаться без оглядки,
время снизошло к твоей судьбе,
прокатив по небу на лошадке
и исполнив песенку тебе.

БЫТЬ ПЛОХИМ

Нет, мой друг и учёный гид,
думай, как там себе захочешь,
но молясь — только строишь вид,
что хорош и совсем не дрочишь.

И когда лишь вконец припрёт
болью, смертью, судьбой ребристой,
то тогда-то и каплет мёд
с уст усталого атеиста.

Не смотри, что из бездны он
копошащихся миллионов,
убивающих тьму времён
и компьютерных покемонов,

знает он перекрёстки троп
и мотивы шуршащей крыши,
чтоб простили его и чтоб
отлучили от суши свыше.

Но когда ты в уме и рад,
поминая о боге ради
фразы импортной «о май гад»,
да и то, если гад на гаде

обломали твои мечты,
что само по себе не ново,
то, как водится, счастлив ты,
выпуская на волю слово.

ЗАБЫВАНИЕ ПАМЯТИ

В поцелуях, пинках и рывках промышляя сохранность,
поверяя себя на излом и привычность к ярму,
ненавидя столетнюю явь и минутную данность,
убеждаешься всё же, что снишься себе самому.

Потому ли, что всё в этом смысле почти несерьёзно,
расщеплённо на атомы и сопричастно судьбе,
что порою ночной ощущаешь — пустынно и поздно
в остывающем доме вселенной и даже в себе.

А раз так, то реальность условно берём под сомненье,
ибо время, текущее в звёзды, — причина всего,
и считаем действительным самым одно лишь мгновенье,
то, в которое был ты зачат, но не понял того.

ВЕСЕННЯЯ ВЕРА

В краю пыльных блох на макушках эпох
в сознании ясном, пока
биолог Господь по фамилии Бог
не скажет нам «ты — лишь река,

текущая средь немоты и тенёт
туда, где не казнь да суды,
но ангел с кувшином тебя зачерпнёт
из общей, как небо, воды»,

мы всё-таки ценим период листвы,
где принято грабить да жечь,
пусть сами при этом не рвёмся, увы,
в межзвёздную гулкую течь,

пусть так же на фоне далёких огней,
мерцающих по вечерам,
куда прозаичней, хотя и родней,
сгорающий в колбе вольфрам.

* * *

Потому что рука
продолжает тебя на бумаге,
где мгновенья-века,
барабаны и флюгеры-флаги,

где намылен и скор,
а в лихую страду — сенокосен
твой народ-разговор
и напор поэтических вёсен,

потому над толпой
простираешь в порыве бессилья
по привычке тупой
сухожилья и ломкие крылья

и себя отдаёшь
неизбежному страшно и смело
со словами: «Ну что ж,
кто хотел комиссарского тела?»

Сгинешь ты сам не свой
средь других героических трусов
в копошильне живой
отпечатков, следов и укусов,

из которых взойдя
вместе с юной своей оболочкой,
станешь громом дождя,
духом ветра и дикою строчкой,

под какую трубя,
кто-то к цели окажется в шаге
и продолжит тебя
на металле, холсте и бумаге.

* * *

Синтетический лох, потребляющий псевдососиски,
чья любовь плодотворна, а семьи серийно густы,
вместо крепких стихов многократной суровой очистки
опьянившийся прозой болтливой людской суеты,

говорящий не то и не там, и не тем; и не этим
укоривший себя, если совесть прижмёт в уголке,
завещающий волю и выбор бунтующим детям,
но плывущий как лист по теченью в столетней реке,

из космических снов заползающий вновь в оболочку,
по наитию чувства шестого на свете живя,
по великой нужде чутко лижущий пятую точку
позабытого бога, наместника или червя,

сторонящийся бед и считающий бремя работы
привилегией мулов послушных и глупых кобыл,
что ты делаешь здесь, в этом зеркале, и отчего ты
так похож на того, про кого ненадолго забыл?

* * *

Прожевав задумчивость воловью,
опустивши руки в чернозём,
семенем пропитанный и кровью,
мы его на память разгрызём

и почуем фибрами своими
каждого, кто родиной клеймён,
дикое мерцающее имя
в легионе канувших имён.

ПОРЫВ ИЗ РУБИЩА

Человек плодоносит, изнашивается, стареет.
Кожа его, покрываясь трещинами,
становится как пергамент.
Дряхлый, обвисший,
высосанный из пальца,
он начинает любить детей,
заботиться о природе,
кормить птиц,
делать добрые злодеяния.

Молясь прошедшему,
цепляясь за настоящее,
сомневаясь в будущем,
хочет он стать святым Цикорием,
исцеляющим пинком и взглядом,
не способным исцелить себя.
Над его головой загорается керосиновая лампа,
засаленный пуховик становится ризами,
слова обращаются в глаголы,
а сам он — в хозяина стада,
забывая о том, что раньше от всей души
посылал на три буквы,
ставил на колени
и бил по морде.

Конечно, всё дело в силе прощения,
в пустоте ощущений,
в кручине безумия,
в шорохе дней…

Но ты, сидящий поодаль и над,
новый молодой прах,
новый растущий хам,
сметающий нас как пепел,
машущий нам вослед,

ты-то знаешь, что бог — это ты,
ты, великий попуститель, продолжатель всего,
свежее древесное мясо, пастырь любви,
зелень весенних побегов, ходячее семя,
вспомнишь ли эти мои слова,
когда сердце застынет в пустыне,
а солнце остынет на небе,
когда придёт твоё серое время,
чтобы кормить
птиц…

НЕОБХОДИМО

От влюблённых, как от зачумлённых,
в чьих сердцах лирическая дрожь,
в сторону шарахаясь, в колоннах
мозгом обходящихся живёшь,

и к смышлёным, точно просветлённым,
тянешься, почуяв лёд в крови,
как к зверям, живущим по законам,
а не по понятиям любви.

Сумасшедши, кривы и ревнивы
поцелуи-случки на двоих,
то ли дело мудрые извивы
в грецких полушариях твоих,

но когда с теплом приходят вёсны,
то уже довольно одного:
поглупеть и высосать все дёсны
у предмета страсти твоего.

СТАТЬ ЭСТЕТА

Свежий мой друг, изощрённый и кроткий,
с хаером длинным вразброс,
вижу по стильной козлиной бородке —
много ты бурь перенёс.

Ну-ка, бухти мне, как стаи китовых
книг бороздят океан
снобов болезных столиц и здоровых —
из мухосранских саванн.

Ты воспаришь в небеса не впервые
мыслью над грешной землёй,
судя по умным очкам и по вые,
стянутой лёгкой петлёй.

Перевернётся от массы открытий
под речевую пальбу
мячик планеты на долгой орбите
и консерватор в гробу,

а как вернётся на землю затем он,
дёрну себя я за чуб:
«Это же старый классический демон
после тамариных губ!»

ОДА КАМЕННОМУ ПРИЗРАКУ

Чьи надежды — из детских песен,
а дворы — лабиринты слов,
горний город мой стал мне тесен,
страхолюден и стоголов.

Из него я однажды вырос,
но звучу здесь под будний вой,
воплощая собою вирус
эпидемии стиховой.

В местных дебрях свой путь запутав,
эти улицы я люблю,
как желают под киль семь футов
снаряжённому кораблю;

в эти лица с душой скабрезной
и монгольскою кривизной
я вглядеться хочу как в бездну,
что разверзнется надо мной.

И насилуя мозг упрямо,
не смекаю привычно сам,
чем привязан я к отчим ямам
и натруженным голосам.

Может, город такой, воочью
вырастающий из земли,
только кажется, если ночью
в диком поле огни зажгли?

Но по утренней дымке ранней
он является как святой,
наполняя квадраты зданий
барабанною суетой,

и за то, чтобы кровь боролась
да стояли дома в лесу,
я вливаю в него свой голос
и свой камень ему несу.

БЕНЕДИКТУ К.

Прощай, Шерлок Холмс. Мы увидим не скоро,
как ты из окурков, пятна и волос
построишь модель человека, который
убил, изнасиловал и не донёс.

По семени, что обронил он в постели
с красоткой погибшею, наверняка
мы знаем: насильник не пил полнедели
ни виски без тоника, ни молока.

Но с помощью ряда примет и по справке,
которую выписал сыщик-шаман,
был пойман убийца, садовник в отставке,
охотник до прелестей и кофеман,

а сыщик, вколов себе что-то из шприца,
взял скрипку свою, и в итоге всего
преступникам в тюрьмах спокойно сидится
под музыку буйных извилин его.

* * *

Ангел мой телохранитель,
если ты на свете есть,
кто тебя сманил-похитил
на плечо чужое сесть?
Как я жил, не беспокоясь,
и полётом небо брил,
а когда упал, то совесть
обломала прутья крыл.
Суетясь и сатанея,
в год любой, в момент любой,
у кого крыло длиннее,
я готов сравнить с тобой.
Пусть устал внушать добро ты,
скрывшись в тишь, куря гашиш,
где забывши про полёты,
лишь кроссвордами шуршишь,
пенсионному маразму
предаваясь, ты — оплот,
страшный демону-оргазму
из-за тридевяти вод.

* * *

Без тлена ISBNa
он книжку стихов пустил
в моря, где людская пена
и дикой воды настил,

где бурно копя и тратя
причины, года, родство,
прочтенье и факт печати
ценил он сильней всего.

Как если бы многострочья,
что сбиты за рядом ряд,
под взглядом однажды ночью
проснутся, заговорят,

и в скользкую пору эту,
где страх, а сердца глухи,
намного видней поэту,
сложившему те стихи,

истёкшему в грубых лапах
печатной чернильной тьмой,
следящему книжный запах
дороже любви самой

в краю, где свободны боги
да звёздочка вдалеке,
с которою по дороге
идущему по строке.

ПРИХОТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЛЕТ

Охолонясь прохладою в юношескую жару,
с головою, продутою на голубом ветру
вымысла тараканьего о красоте любви
и о враге расслабленном в луже своей крови,

сердцем нередко чувствуешь: время убил зазря,
январём, отплывающим прямо до декабря,
на пустяки потратился и не постиг беду
по умноженью возраста в следующем году.

Странное ощущение, как тебя бог родит,
что этим самым в вечности сразу открыт кредит
за отправную молодость и незагробность тьмы,
той, по которой мечешься, чтобы светить взаймы.

Нерукотворной юностью, строящей жизни храм
на перегное пращуров и отшумевших драм,
не торопясь врубаешься, что урожай пожал,
что заплатить приходится больше, чем задолжал,

не суетясь свыкаешься, что долговое дно,
где оседаешь с возрастом, холодно и полно
ангелов смертной совести и счетоводов душ
за потреблённый ранее свежести жирный куш.

Но чтоб не впасть в отчаянье, стоит заметить всё ж:
есть лишь движенье времени, режущего как нож
на полотне материи дьявольский свой узор,
а всё иное — выдумки, тление и позор.

БОГАТЫРИ

Героиновые герои,
почивающие в труде,
выступающие по трое
в диком поле назло орде,

пребывающие на стрёме
в час, как родина, вострубя
о спокойствии в отчем доме,
к вечной матери шлёт тебя.

Романтические пострелы
долгих эпосов и стихов,
разводящие то и дело
змей горынычей и лохов,

как следилось вам, как бродилось,
бделось, мнилось и не сбылось —
от лесов, где природы милость,
до снегов, где земная ось?

Отчего вы коситесь сонно
средь деревьев, чей бор елов,
в век прессованного картона
и опилок внутри голов,

в век пластмассы, стекла, металла
без шинели, ружья и рва,
как подсказывала и звала
славы звонкая тетива.

Отчего, ни о чём не споря,
вы молчите, ответ тая,
и лишь горы и отблеск моря
в ваших взорах смекаю я?

* * *

Даже в стадии херувима
человеку необходимо
прятать крылия и бока
от обмана и кулака,
потому что, лишь ветру веря
и в природном котле бурля,
всюду — люди, растенья, звери,
потому что ещё — земля.

Потому что ты сам, настроясь
быть гремящим и сильным, то есть
расшибаться не перестав
о шлагбаум чинов, застав,
сторублёвою смертью создан
в трёхкопеечном наяву,
ты, колеблемый страхом воздух,
обречённо шуршишь в траву.

Не взыщи, если толку мало
и народу кругом навалом,
и порою как на войне —
эшелоны, говно в огне,
речь о бегстве, боях и хлебе,
человеческий фактор, где
смысла нет, есть лишь бог на небе
и круги на речной воде.

ФЛАГИ ВЕРНОГО ДЕТСТВА

Вспомни пыльные фильмы, где плёнки зерно
прорастало в мозги пациенту,
что совсем не за кассу ходил на «кино»,
заключённое в тесную ленту,

где герои кристальны и полнят свой стаж
громких подвигов честно и сухо,
и всегда по-отечески добрый дубляж
политически верного слуха,

где злодеи, которых судьба повела
по наклонной, ползучи как слизни
и гуманно лишают от имени зла
юной чести, наследства и жизни.

Я люблю вас, картины эпичных вершин,
как единственно верное средство
оказаться хотя бы на час с небольшим
в бестиарии вечного детства,

где горнист надрывался, гремел барабан,
и спина выпрямлялась до хруста,
и носителей галстуков плыл караван
к усыпальнице лысого бюста.

Пусть толкуют о том, что в прошедшей борьбе
смысла нет и иным было плохо,
и давно накрывалась сама по себе
медным тазом стальная эпоха,

но в неволе рождённый запомнит не цепь,
что прикована насмерть к орудью,
а залитую солнцем хозяйскую степь
и рабыню, вскормившую грудью.

* * *

В пыльном городе, чьё название
словно диагноз и приговор,
не заостряя почти внимание
на термоядерный серый вздор,

не возносясь и учась терпению,
ибо посредственность всем дружна,
и иногда лишь вливая в пение
груз накопившегося рожна,

не обойдясь суетливой прыткостью
или устав нарезать круги,
выйди на площадь, облейся жидкостью
цвета осени и зажги…

Будет веселье на полной громкости,
а как проснёшься, то впредь гляди,
ибо бензин безопасней в ёмкости,
как и желанья — внутри груди.

* * *

Сядем в строгое кресло, чувствительный друг,
освещённые светом подробным,
приоткроем лирический слизистый луг
с валунами под сумрачным нёбом.

Белый ангел со шприцем, срубивший бабла
столько, что уж не корысти ради
даст понять, что такое стальная игла
в обнажённой податливой глади.

Он расскажет стерильный дневной анекдот
про червя из пустого ореха,
между тем как набухший трагически рот
остывает от боли и смеха.

Он полезет щипцами в тебя и начав
шуровать и тянуть, что есть мочи,
будет что-то мычать, напирая с плеча,
про какие-то чёрные очи.

Рефлексировать в этот момент неспроста
не резон, холостая работа:
представлять, как на свет волокут изо рта
часть тебя самого — это что-то.

Но пока ты признаешь, что ангел твой груб,
он закончит, не дрогнув и бровью,
и предъявит щипцами отвергнутый зуб
с откровенно краснеющей кровью,

ободрит и пошутит с тобой до крыльца,
где оставит по участи тяжкой,
посоветовав, как отойдёт пол-лица,
полоскать цианидом с ромашкой.

* * *

Тот удушливый гордый дух,
говорящий через меня
за пронзительных психов двух
и ещё одного коня,
тихо пашущего в ночи
чернозёмы народных слов,
испаряется, как свечи
первобытный уютный кров.

Эта трудная голова
и орудия рук и ног,
верно служащие, едва
начинается мир со строк,
исчезающих поутру
в раскаляемой синеве,
хоронящейся подобру-
поздорову в самом тебе.

Эта сладкая злая боль
чувства пропасти на краю,
очень частое и не столь
повторяемое «убью»,
повторяемое «люблю»,
повторяемое «живу»,
если так положили лю-
ди добрые наяву.

Ты, простуженный листопад,
злоба ветра и солнца спесь,
затесавшийся наугад,
оказавшийся прямо здесь
из совсем запредельных тем,
из чужих городов и сёл,
заручившийся этим всем,
твёрдо знаешь, что это — всё.

* * *

Говоря серой прозой
и молча не о том,
под бетонной берёзой
да с семейным гуртом,

видишь звёздочки ближней
созревающий крест —
так возьми же и выжми
из неё, сколько есть.

Пусть она нам расскажет
и споёт до утра,
кто сегодня на страже
кислорода-добра.

Пусть нам будет не страшно
и потомственно — лечь
в это небо, чьи башни
отрывает от плеч,

в эту землю, чьё имя
заряжают навзрыд
поездами ночными
по орбитам обид,

где справляясь с тоскою,
но не тронувши тишь
крепким словом, рукою
лишь махнёшь и простишь.

ЛОШАДКА

Ребёнок, похожий на других ребёнков,
краснощёкий, лопоухий, голубоглазый,
лет восьми, может, старше, ходящий в школу,
задающий первые неудобные вопросы.

Заботливая мама одевала и кормила,
покупала ему интересные игрушки,
в том числе и большую пластмассовую лошадку,
на какую можно было сесть и поехать.
И ребёнок любил эту самую лошадку,
называл её пони, гладил, лелеял,
угощал пластмассовыми апельсинами
и даже расчёсывал деревянным гребнем.
Но когда он потерял ключи от квартиры,
мама расстроилась и громко ругалась,
бегала за ним с ремнём по комнате
и в итоге выкинула его лошадку.
Благо, был папа, который не сдрейфил,
сменил замок, сунул ему конфету,
а затем разделся и уснул на диване,
источая запах больничных уколов.
Впрочем, и папа не всегда был весел.
Ребёнок понял это, когда случайно
сломал его дорогой кассетник,
за что был больно щёлкнут по носу.
Хорошо хоть то, что ходил он в школу,
где можно развеяться, побыть с друзьями,
какие не всегда над ним издевались
и не каждый день отнимали деньги.
И с годами ребёнок изрядно вырос,
устроился на работу, завёл собаку,
заимел подругу и новую квартиру,
стал кататься на быстрой машине.

Его друзья часто звали на вечеринки,
предлагали вспомнить школьные годы,
но он отказывался со словами:
«Вы — отнимали мои деньги!»
Его поседевший отец работал дома,
звал навестить, поделиться новостями;
он навещал, но лишь раз в полгода,
твердя: «Ты щёлкнул меня по носу!»
Про покойную маму говорили хорошее,
останавливали на улице, вспоминали былое,
он соглашался, но про себя-то думал:
«Она погубила мою лошадку…»

* * *

Дребезжащего мяса томатный струящийся звук.
Пятна умершей крови.
Обыватель-маньяк, закатав рукава сильных рук, —
в убиенной корове.

Равнодушно-тупой и не знающий совести нож
разделяет на части
отмычавшую тушу, жевавшую нервную дрожь
в зеленеющей пасти.

По подобию бога и образу грозных отцов
поналепишь из фарша
голубцов и архангелов и самобытных самцов
и увидишь, кто старше.

И окажутся в мире страшнее и старше всего
только время и дата,
что под хряск мясорубки всю братию до одного
пропускают куда-то…

За цыганскою смертью, за синей межзвёздной тоской,
став ревущим прибоем,
человеческий берег, высокий и гулкий такой,
мы от крови отмоем,

и тенистые жертвы, чья горная месть горяча,
за мучения эти
с перерезанным горлом, о чём-то трагично мыча,
не родятся на свете.

* * *

Ночью, посещая холодильник,
если сном разжиться не дано,
тихо, как крадущийся насильник,
помолись о чём-нибудь в окно,

но не так, чтоб крепко об пол биться,
будучи виною прокажён,
а с колбасным тубусом в деснице
и лохматой шуйцею с ножом.

Будешь ты прощён за всё былое,
если и не богом, то собой
без куренья свеч у аналоя
прямо в кухне тесно-голубой,

ибо самой чёрной полосою
прогулялась мысль твоя, когда
колбасой с солёною слезою
подавился тихо от стыда.

Совесть, сотрапезник ненасытный,
крест тебе на шею, в руки — флаг:
даже за рутинною молитвой
и едой священной что ж ты так?

ВЕЧЕРНЯЯ СФЕРА

Слышишь, звёзды звучат в проводах о том,
как под вечер внутри голов
после дел, отшумевших часу в шестом,
не хватает зубов и слов.

Видишь почву, политую тьмой сырой,
из которой растёт уют
многоглазого здания, где порой
то хоронят, то свадьбы пьют.

Дышишь воздухом, сдобренным тихим злом,
где прохожий — скалой скала;
называемый им за глаза козлом,
волочишь по грязи крыла.

Помнишь правду, что точит нас ливнем лет:
звёзды, почва и воздух весь —
это всё, что имеется, больше — нет,
как ни шарь и куда ни лезь.

Не взыщи, если то, что понять пришлось, —
разводилово для лошар,
а смешаем всё в колбе и глянем сквозь —
телевизор, хрустальный шар.

* * *

Едва впрягли, надули, развели,
обшарили и по миру пустили,
как отпускают пригоршню земли
на волю ветра, гибели и пыли,

то скажешь сам себе ты: «Я люблю,
когда, глумясь над участью микробьей,
рука судьбы сбирает по рублю
на чьи-то распашонки иль надгробье».

В летящем солнце, как ни обусловь
его международное свеченье,
ты видишь подтвержденье горних слов
о собственном святом предназначенье,

и веришь в это, словно муэдзин
в луну, хотя бы правда неуклонно
вела тебя за хлебом в магазин
с голодного ночного небосклона.

* * *

Первый снег налетел на последнюю грязь,
и по улице стало светло,
словно фотомодель обнажила смеясь
белозубо-прекрасное зло.

Он ещё не настолько сугробист и густ
и с морозною мглою не схож,
но сомлевший от ветра рябиновый куст
в летаргию приводит и дрожь.

Выйдут люди из дома, бодры и больны,
потоптать его и разгрести,
попросить за себя у зимы-белизны,
подержать непривычно в горсти.

Снисхожденье ко всем он проявит в тот час,
не откажет ни в чём никому,
ибо жил наверху и коней белых пас
и оттуда виднее ему.

Сухожилья дорог и дворов серый лес,
где творится людское родство,
этот ласковый кайф с параллельных небес
заслужили по мненью его.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Б. К.

Под синие строки, зовущие за борт куда-то,
где море мерцаний, а смысл привычный одрях,
ребёнок с лицом предстоящего яду Сократа
старел на глазах, умирал и рождался в дверях.

Он снова вплывал и скитался по комнате пленно
и мерил свой шаг, укрощая погоду лица,
от паузы тесного пола в начале катрена
до края приветливой бездны, где точка конца.

Всё это качалось на тонкой невидимой ноте,
чужой и знакомой, как первая мысль поутру,
такой же, какую поймёшь, выбираясь из плоти
размять гулкий голос души на нездешнем ветру.

Ребёнок идёт и читает по сердцу, как дышит,
от темени ангела до преисподних седин,
средь звона ладоней и глаз многочисленных вспышек
обретший вниманье — сумевший остаться один.

ЧЕЛОВЕК ПОЗДНЕЙ ПОРОЮ

Отчего, по ночам не веря
в сон проспектов и пустырей,
обостряется чувство зверя
и закрытости всех дверей.

Не впускают, не выпускают —
поздним небом закон таков —
и тем строже, когда ласкают
жён, любовниц и моряков.

В этот час разве б кто поверил,
что, бродягам ночным под стать,
ты когда-то спешил за двери
и стыдился серьёзным стать.

Банки, чипсы, плевки, окурки,
конский хохот в дурман-траве —
молодые мои придурки
с буйным семенем в голове,

созерцать вас могу весь день я,
ибо в правде своей чисты
трёхэтажные откровенья
и изысканные понты.

В какофонии разнополой
убежавшим из дома прочь
первый акт за родною школой,
ловля кайфа и эта ночь

станут истиной очевидной,
обратившей святых в лохов,
за какую совсем не стыдно
в пост-пространстве своих грехов.

* * *

А нужен ли был свистящий
с балкона вниз головой
игрушечный-настоящий
и даже ещё живой,

с обрывочною мольбою
сходящий теперь ко дну,
утративший под собою
опору и всю страну

смирительный человечек
в миру, где чума да спесь,
с пожаром на сотню свечек,
что вышел куда-то весь,

оставшийся отморозком,
который вдруг, сам не свой,
растёкся арбузным мозгом
по праздничной мостовой?

* * *

Тощий чёрный кот у большой реки
смотрит, как народ жарит шашлыки,
слышит, как орут, как поют и пьют
за любовь и труд и лесной уют,

и от шашлыков этих неспроста
просто бой быков в голове кота,
просто злой искус, угадав какой,
кто-то бросил кус щедрою рукой,

и сожрав его без остатка весь,
кот подумал: «Во!» И остался здесь,
и прищурив глаз, лёг в тенистый мрак,
и ещё не раз угостился так.

Был он чёрен сплошь и счастлив вполне,
как ядрёна вошь на его спине;
лишь звезда-пятно на кошачьем лбу
освещала дно, а точней, судьбу.

БЕРЁЗЫ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Чувство родины зреет, но там лишь, где родины нет,
где проветренным утром встречая дежурный рассвет,
упирается взгляд вместо яблонь, снегов и синиц,
в обожжённую пальму и ваксу торгующих лиц.

Тесный пояс планеты с названием брендовым «юг» —
это здесь по-другому и дышат и смотрят вокруг,
где столбы минаретов и поезд верблюдов в пути,
и пророк заповедал молиться, плодить и пасти.

Видя честное море, несущее хохот волны
сквозь купальщиков бронзовых из параллельной страны,
подперчёной экзотики блюдо вкушая, ты сам
беззаботный сезон затвердишь по наручным часам.

Средь акаций и зноя, соблазнительных снов и плодов,
загорающих тел всех оттенков, имён и родов,
ощутишь ностальгии позыв и загнёшься в тоске
по прохладным борщам и покрывшейся льдами реке.

Пусть залётный младенец потомственной родины так
хочет выйти на свет в виде гимна под реющий флаг,
возлюби же её и на память другим сохрани,
даже если она и толпе безымянной сродни.

Почему Юлий Цезарь, похерив походный экстрим,
позабыл Клеопатру с камасутрой и двинулся в Рим
и от казни Сократ не укрылся за тридевять вод,
и прохвост Одиссей не вручил Пенелопе развод?

Значит, что-то, но есть посильнее солдатских сапог,
вожделенья и смерти, рекламы свобод и дорог.
Нищей родины зов, достающей и в сытом тепле, —
этой самой абстрактной из всех величин на земле.

АТЛАС ПО ИСТОРИИ

Всё просто: вот стрёмные страны, вот — мы,
вот стрелки осиновый фаллос,
направленный в центр колодезной тьмы,
которой недолго осталось.

Я верил, что кодлу вселенского зла,
опасное кончив соседство,
накроет, от пролитой крови тепла,
свобода и равенство-детство.

Я думал, отменят пунктиры границ;
точнее, считал безграничность
одним из условий счастливости лиц,
звериность сменивших на птичность.

На карте, где мир разъярён и раздет,
а путь, хоть и ясен, но долог,
росли перекрестья повальных побед,
кружки городских кофемолок.

Я крепнул, я думал, но всё отошло,
пролив пионерские зори,
сомнения в смерти и доброе зло
в моментом вскипевшее море…

Вот так же, читая труды братьев Гримм,
я верил им, быв обезбожен,
как в прошлую юность, в которой экстрим
всеобщего кайфа возможен.

ОБРЯДЫ

Ты должен иметь портфолио,
чтоб выбиться из гурьбы, —
свидетельство, как ни холь его,
бесславной своей судьбы,
колючие цифры-данные,
ФИО, учёбу и стаж,
всё то, чем пополнил планово
потомственный свой багаж,
награды и достижения,
отчётов девятый вал,
крылатые выражения
казенных сухих похвал,
короткую биографию
и фото, где ты со злом,
внедрясь в трудовую мафию,
картинно вздымаешь лом.
Сложив воедино важное,
будь счастлив, себя любя,
пускай только пыль бумажная
останется от тебя,
вспомянут друзья субтильные,
за чашей сплотив умы,
как одевался стильно ты
и всем подавал взаймы.

* * *

Тот пацан кучерявый с кликухою «Пушкин»,
помню, в школьные годы чурался не зря,
не куря за углом, не имея подружки,
собирая пинки и слывя за чмыря.

Может, это служило лишь формою встряски
для прыщавых здоровых наморщенных лбов
за стихи о природе и мультики-сказки,
что зубрить заставляли с молочных зубов,

но пугливый тот тип, подобру-поздорову
уносивший себя до звонка от звонка,
с той поры уж не верил великому слову,
ни печатному — в книге, ни с языка.

Он забился в какой-нибудь угол, где капал
на курчавого классика и небеса,
осчастлививших схожестью с пыльным арапом,
и хватаясь за голову клял волоса,

а с годами стал стричься «под ноль» и за это
возмужал, обзаведшись детьми и женой;
лишь порой, если вдруг вспоминали поэта,
импульсивно к стене прижимался спиной…

ОБЛОМКИ ДОБРА

По существу, любой прохожий —
в делах, в дыму.
«К чему ходить с серьёзной рожей, —
кричишь ему, —
ещё с утра, когда улыбка
важней всего?» —
пусть за глаза и громко шибко,
но для него.
Он поначалу крякнет даже
и будет груб,
но рот растянет и покажет
последний зуб.
И в этом зубе изуверском
ответ-доклад,
что человек он хоть и мерзкий,
но зверски рад…

СБОР НАСЕКОМЫХ

«…За два рубля в сутки приезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов…»
Н. В. Гоголь

зачем умирать посмотри на природу
соседский дворник не пьющий лишь злую воду
сменивши бельё и наладив себе метлу
поставит её в углу
своей квартиры обшарпанной словно зубы
хрустящего сухарями в камере книголюба
пчеловода рыболова и дармоеда
к которому я не поеду
поскольку ещё в прошлогоднюю среду
ближе к обеду
я почувствовал что из доверия вышел
у собственной тихо шуршащей крыши
шишел-мышел
кто там речь завёл о гашише

да и пёс с ним с дворником
где-то я слышал что по вторникам
а вторник день Марса и Марсу нельзя спокойней
начинались войны конфликты и мордобойни
хотя говоря по совести и без вторников
каждый день на свете полно покойников
гораздо больше чем воздаяний грешникам
понимаю тех кто писал раешником
в рождественском мире где тихо на взводе я
лопнет по швам любая просодия

а если мысли собрать воедино
в подушке из холлофайбера нет перины
в Китае полтора миллиарда из миллионов
электричество направленный поток электронов

о чём о чём там было в начале
о жизни и смерти о кайфе в печали
когда уморительно трудно заставить
разгадывать буднюю сонную заводь

но всё ж охлаждаясь рождаясь горя
по версии философского словаря
украденного мною при фазовом сдвиге
у библиотекарши ненавидящей книги
жизнь есть существование белковых тел
и значит как бы не жить ни хотел
ты существуешь как доллар в Америке
пусть и не в виде святой истерики
скользкой души а как старение
праха пепла и удобрения

финти-не финти если выбора нету
зайди в супермаркет опусти монету
в автомат-разводилово на опушке
людского внимания где игрушки
мягкие детские и лежалые
робко хватает клешня трёхпалая
несёт на выдачу и любезно
уронит обратно в цветную бездну
а то что монет в нём больше чем фактов
выемки праздничных артефактов
душам и нервам звенящим струнами
разве не повод остаться юными

* * *

Кристальная, горняя, верная речь,
как вкрадчивы ритмы твои,
когда начинаешь трагически течь
из гулкой чугунной змеи

систем утопленья в глубинах времён,
о камень на сердце дробясь
на тысячу смыслов, частей и сторон
и мудрую ржавую грязь.

В минуту, когда поезда на мосту
взрывают последним «прости»,
ты учишь ручного моллюска во рту
скользить по ночному пути

скалистых зубов и сырой полутьмы
и бездны, где смерть сожжена
звездою, в которой рождаемся мы
из хаоса, как из зерна.

ПРИКОСНОВЕНИЕ СКВОЗЬ ДАЛЬ

Всех, откалывавших коленца,
стихоманов и извращенцев,
толкователей звёзд и бредов,
некрофилов и книгоедов,
доживающих не в чести,
ныне, Господи, раскрути.

Не за ради сусальной славы
и народных венков, когда вы
по долбёжнику в школьном быте
бронзовеете и пылите,
мозг выносите юрким детям,
вас зубрящим, и самым этим,
невзирая на трескотню,
забывающим на корню.

Но за то, чтоб, когда с лихвою
мировою прижмёт тоскою,
человек, озверевший снова,
для себя оторвал хоть слово,
хоть надежду, хоть тень возврата
к счастью, прожитому когда-то,
просто канувши с головой
в безымянности стиховой.

И пускай он лишь капля горя
в подступающем к сердцу море,
там, где рифы, а люди яры,
пересуды и тары-бары,
но так легче куда и в этом
кровно родственен он с поэтом,
через бездну и сквозь тоску
протянувшим ему строку.

ФОТОГРАФИЯ

Как застывшая ложь красноглазого фото
с говорящими ртами и позами тел,
неудачно застигнутых из правдомёта
аппарата со вспышкой, куда ты влетел
в тот момент, как мечтал, что появится Муза
в синтетической юбке до голых колен
с голосистой компанией шумного вуза
покорителей Трой и бывалых Елен,
так просмотр фотоснимков не лучше приёма
алкоголя, что нервных кидает в штыки,
ибо видно по ним, до чего незнакомы
наши бледные копии и двойники,
что уже через год позаимствуют право
оставаться тобою и слепо считать
неизменными лица свои да и нравы
и всю жизнь молодиться деревьям под стать.
Но, сверяясь со снимками, как с образами
для духовного роста, в итоге смекнёшь
приращенье морщин и теней под глазами
и волос поредевших усталую рожь.
Отвернёшься от зеркала и отчего-то
позавидуешь прошлой эпохе, когда
неудачно и молодо вышел на фото
и тем самым себе не составил труда.

УРОКИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Прежде, в бытность студентом, предметов докучливых ворох
изучал я со скрипом, средь общего хора которых
рекордсменом ненужности, тянущем след сквозь века,
мне казалась долбёжка латинского языка.

Смуглый старый наш лектор со сросшимися бровями
и морщинистым ликом, подъеденным муравьями
отгоревших желаний, студентов беря на измор,
прямо в зале для лекций изящно курил «Беломор».

Он твердил: «Esse homo». Мы вторили «Homo homini
lupus est» и про всё, что взошло на античной равнине,
но из всех афоризмов, склонений, латинских корней
мне запомнилось только, что истина где-то в вине.

Он учил отстранённо, не видя иных в нас талантов,
языку крючкотворов, аптекарей и некромантов,
улыбаясь чему-то, хоть я и не ставил на вид,
что же мог знать о жизни ботаник-сухарь-индивид.

С тех весёлых времён протекли месяца и столетья,
за период которых давно уж успел бы истлеть я,
если б вдруг не очнулся, едва перечтя годы те —
сколько бед нахлебался, вращаясь в людской тесноте.

И что мог я сказать? Что, действительно, homo homini
lupus est и не только, поскольку на месте доныне
не топтался прогресс, и, наверно, затем с этих пор:
человек человеку — кувалда, кирпич и топор.

Мрачных истин букварь, по врождённой классической дури
всю крылатую мудрость испытавши на собственной шкуре,
был я рад каждый день выходя за порог, как на бой,
тот латинский толковник захлопнуть навек за собой.

ЗВУКИ СМЫСЛОВ

Слыша честный голос переводчиков
второсортных фильмов, что просты,
но стоят на подвигах молодчиков
под неостывающие рты,

многих из героев киномафии,
как прыщи и юность, помнил я,
от боевиков до порнографии
закаляя дух и вопия.

Долго средь пустыни настоящего,
чьи пески искусства глубоки,
мог блюсти я стиль переводящего
и потоки мата и реки,

но всегда понятнее был страсти шум,
где податель майского дождя
разрывает мозг «даст ист фантастишем»,
в женщину, как в комнату, входя.

ЭКЛОГА

Помнишь, мы пасли с тобой коров
в небе, где стреляли птицы звонко:
я был одурманен и здоров
силою бездонного подонка.

С помощью твоей моя рука,
продираясь вглубь, где хоть и узко,
но среди одежд наверняка
находила голого моллюска.

Поэтичный Эрос, полон сил,
стрел и опасений вдаться в прозу,
пролетая мимо, колесил
крыльями по цвету и навозу.

И неподалёку, чуть первей
кайфанув и бросивши работу,
пара пастухов в тени ветвей
рукавом занюхивала что-то,

но они, как их ни обзови,
только тем и плохи, что уж сыты,
и под щетиною их любви
литосферы треснувшие плиты.

МЁРТВЫЙ СЕЗОН

Всё закончится островами,
где по зрелости мы остынем,
где уютно цветёт над вами
мачта пальмы под сводом синим,

где шезлонгами берег роя,
а глаза опустивши долу,
отдыхающие герои
попивают святую колу,

где по первости не поверя
в то, как сон твой загробный прожит,
ты порой с опасеньем зверя
тихо скажешь, что быть не может

и ощупаешь рай со страхом,
ожидая, что здесь засада
и идиллия эта махом
обернётся картиной ада,

но насквозь окоём прозрачен
и беспочвенны страхи эти,
хоть и остров не предназначен
для того, чтобы жить на свете.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХРУПКОГО СНА

Как в отчаянный час
зуд обиды, что порох рубахи,
разорвёшь напоказ
в богадельне, дурдоме, на плахе,

ты, лесная струна,
звонкий нерв перемены мгновенной,
о каком тишина
оглушённой сияньем вселенной.

Ты над строчкой в листе
чертишь звёзды нажимом железным,
что, увы, ещё те
и зовут к неразгаданным безднам.

О тебе скажет всяк:
«Пусть он странен, но это знакомо.
Да и мало ль бродяг
и участников для лоходрома?»

И похерит тебя,
и сломает, присыпав травою,
по затылку скребя
пятернёю своей трудовою,

но его правоты
недостанет, едва, как ни странно,
всё, что пережил ты,
возвратится в осаде тумана,

в громе ливня и льда,
в гулком ветре, по осени спетом,
в то, чем был ты всегда,
но стыдился признаться об этом.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Кутенков. Медленная алхимия 3

Вспышки в долгом тумане 7
Пора одряхлевшей коры 8
«При помощи глотки и нищей гармони...» 9
Бездна за горизонтом родины 10
«В гул пчелиных будней отпуская...» 11
Черновик 13
Молочный зверь 14
Приручение ангела 15
Acheta domesticus 17
Репетиция лета 18
Шум умирающей волны 19
Обозначения людей 20
Вдаль уводящие провода 21
На речной заре 22
Остров яблонь 23
Немного забытого счастья 25
Алхимия 26
«Я разучился делать из бумаги...» 27
Человек на лету 28
«Дом, где гербарием стали клёны...» 29
У холодного края 30
«В сонном лесе отчизны...» 31
Проходная 32
Увольнение на юг
1. «Мы бродили с тобой дворцами...» 33
2. «За шуршание листьев, иссохших дотла...» 34
Элегия, подхваченная ветром 35
«Совесть — ангел, чью крышу свезла... » 37
Пиццикато 38
Шорох крыши 40
«У прожжённых героев в конце ЖЗЛа...» 41
Тексты 42
«Псих номер двести тысяч...» 43

«Погадай по пачке сигаретной...» 44
Свои 45
Грусть у большой воды 46
В отражённом лице. 47
Быть плохим 48
Забывание памяти. 49
Весенняя вера. 50
«Потому что рука...» 51
«Синтетический лох, потребляющий псевдососиски...». 52
«Прожевав задумчивость воловью...» 53
Порыв из рубища 54
Необходимо 56
Стать эстета 57
Ода каменному призраку 58
Бенедикту К. 60
«Ангел мой телохранитель...» 61
«Без тлена ISBNa...» 62
Прихоть солнечных лет. 63
Богатыри 64
«Даже в стадии херувима...» 65
Флаги верного детства 66
«В пыльном городе, чьё название...» 67
«Сядем в строгое кресло, чувствительный друг...». 68
«Тот удушливый гордый дух...» 69
«Говоря серой прозой...» 70
Лошадка. 71
«Дребезжащего мяса томатный струящийся звук...». 73
«Ночью, посещая холодильник...» 74
Вечерняя сфера 75
«Едва впрягли, надули, развели...» 76
«Первый снег налетел на последнюю грязь...» 77
Посвящение 78
Человек поздней порою. 79
«А нужен ли был свистящий...» 80
«Тощий чёрный кот у большой реки...» 81
Берёзы Римской империи 82
Атлас по истории. 83
Обряды 84
«Тот пацан кучерявый с кликухою «Пушкин»...» 85

Обломки добра 86
Сбор насекомых 87
«Кристальная, горняя, верная речь...» 89
Прикосновение сквозь даль 90
Фотография 91
Уроки латинского языка 92
Звуки смыслов 93
Эклога 94
Мертвый сезон 95
Продолжение хрупкого сна 96

ОБ АВТОРЕ

Родился в 1976 году в г. Нижнекамск республики Татарстан. Окончил Елабужский государственный педагогический институт. Работал учителем.

Публиковался в журналах «Сетевая словесность», «Артикль», «Новая реальность», «Дарьял», «Белый ворон», «Идель», «Новая литература», на сетевых ресурсах. В 2013 и 2014 гг. — лонг-лист в поэтическом конкурсе «Эмигрантская лира». Автор сборника стихотворений «Классический жёлтый песок» (2014).

Электронный адрес: ewgenym@yandex.ru.

Литературно-художественное издание

Евгений Александрович МОРОЗОВ

КОРМИТЬ ПТИЦ

сборник стихотворений

Редактор *Евгений Степанов*
Компьютерная верстка, макет *Владимир Коркунов*

ISBN 978-5-91865-387-6

Бумага офсетная
Гарнитура Minion Pro
Тираж 150 экз.
Подписано в печать 09.03.2016

Издательство «Вест-Консалтинг»
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,
д. 1/26, корп.1, офис 34
Тел. (495) 978 62 75
Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол
Комсомольский проспект, 73